



рассказ

У столбовой дороги

Борис ПОПОВ

1.

Цаца родился в хорошем гнезде, свитом у края соломенной крыши на маленькой домишке-срубе. Домик этот глядел двумя оконцами на столбовую дорогу, на луговину и лес. Дорога когда-то была хорошая и соединяла хутор Поружку с большим городом. Но по ней прошло столько техники и людей, а следить за дорогой было некому, и теперь она потеряла свой прежний лик, и все, кто ни ехал по ней, поминали святых угодников, мать, крест и бога, поминались еще какие-то слова, от которых дорога не становилась лучше.

В одночасье с Цацей родился братишка Жур. Цаца и Жур были детьми знатного, опытного Вожака, много раз водившего косяки в далекие теплые страны на зиму, много раз попадавшего в переделки, когда приходилось менять заученную с давних пор трассу. У вожак не карт, они перенимают трассу по наследству и тянут косяк интуитивно, лоя ориентиры. От Поружки путь косяков начинался со столбовой дороги, хорошо заметной с воздуха, потом дорога переходила через мост, и ориентиром становилась большая река. Косяк у моста делал резкий поворот и уверенно брал курс на юг.

Но однажды мост исчез. Сильные взрывы и всполохи огня уничтожили его. С тех пор дорога за несколько километров до реки поворачивала внезапно вправо, на север, и обрывалась в лесу, где невозможно было ее найти.

Отец Цацы и Жур попытался было лететь, придерживаясь новой дороги, но безуспешно. Получался большой крюк, зря тратились силы, аисты роптали, сломали стройную дисциплину косяка, и Вожак мог навсегда потерять и высокое звание, и авторитет, если бы, жертвуя собой и всей семьей, на ощупь не пошел по едва запомнившимся с детства приметам и, к счастью, не вывел стаю к большой реке.

Дружно воздали они тогда «славу» Вожаку, послушно выстроились. Вожак встал вперед, и долгий-долгий путь с ночевками, кормежками был благополучен: у косяка был отличный вожак.

Неспокойно стало на большой дороге последнее время. Часто летают над гнездом громадные гульки птицы. Они гораздо больше, чем аисты, они роняют что-то такое, отчего ухаются доро-

га, пропадают дома на хуторе, уничтожаются гнезда. По дороге то туда, то обратно едут, грохоча, машины, скачут лошади, бесконечно идут люди. Вожак все видно с крыши; он не очень разбирается в людской жизни и немного побаивается людей, хотя твердо знает, что люди аистов не убивают, чтут их и считают хорошим признаком, если аисты выют на их домах свои гнезда. Особенно он стал осторожным в это лето, когда родились Цаца и Жур. Больно ljudно стало на дороге, шумно, прямо хоть меняй место. Да жаль: под гнездом, под соломенной крышей живут хорошие люди, давняя дружба у Вожака с хозяином Журбой. И жену его знает Вожак — Анку. И детей. Одна девочка уже большая, лет одиннадцати, Раиска, а другая — совсем еще крохотная, в люльке лежит.

Крестьянин Журба любил Вожак за ум, храбрость и ловкость, помогал ему в свое время построить гнездо, лучшее в хуторе, зазывал к себе в дом, желая угостить вкусными птичьими потрохами, но Вожак считал это панибратством. И никогда не давал себя трогать руками, держался на расстоянии, не любил излишних нежностей. Он был вожак, привык к суровой жизни, к дальним полетам, к дождю и ветру. И детей воспитывал так же, в спартанском духе.

2.

Цаца и Жур были совсем разные. Эти имена дала им Раиска, но уже тогда, когда аистята стали большими и смогли проявить свои характеры. Цаца был избалованным и капризным, был неженкой и в какой-то степени эгоистом: мать принесет еду — и не успеет Жур оглянуться, а Цаца уже выхватил ее у матери из клюва и мгновенно проглотил. Мать принесет что-то негодное Цаце — Цаца не отдаст Жур, а выплюнет на крышу. И матери снова нужно лететь за добычей. Вожак часто наказывал его, тогда Цаца отворачивался, клал голову на край гнезда и долго глядел на далекий лес.

Жур был серьезным, скромным и задушевным. Он многое перенимал от отца, а на фокусы Цацы реагировал сдержанно и по-взрослому: «Ну что взять с него, если он такой глупый».

Подождал день, когда дети настойчиво

захотели летать. Своенравный Цаца уже сам было вздумал, расправив крылья и взмахнув ими, взлететь над гнездом, но тут — впервые! — получил от отца такой удар клювом, что надолго понял: летать — дело не шуточное.

Правда, Вожак и сам понимал, что против природы не пойдешь, но он сознательно оттягивал день учебы: уж больно беспокойно было внизу. Дорога была запружена, пыль поднималась облаком и доходила до самого гнезда. В этой пыли, то бранясь, то горланя неведомую Вожак «Розамунду», шли люди, много людей. Ночами тревожен был сон Вожак: звенела от грохота посуда, звучала все та же «Розамунда»; на обочине дороги всю ночь жгли костры, и дым резал аистам глаза; где-то орала свинья, слышались гоготанье и предсмертные хрипы гусей. Вожак все ждал, что станет тише и дорога опустеет. Нет! Конца-краю не видать. И менять гнездо нельзя: хутор Поружка был местом средоточия косяка, это знали все далекие и близкие гнездовья; пройдет месяца два — и начнется слет в Поружку для тренировки. Стая будет готовиться к дальнему и сложному полету. Цацу и Жур пора учить летать. Другие родители давно уже этим занимаются, те, что гнездятся далеко от дороги. А здесь рискованно. А вдруг... И все-таки... Пришел день, когда Вожак разбудил Цацу и Жур еще до восхода солнца. В это время на дороге не было большого движения, и он решил, что можно попробовать.

Вожак встал на край гнезда, мать поднялась в воздух. Цаца и Жур были освобождены взлетная площадка. Вожак показал для начала простой прием: согнуть ноги в коленях, шею — чуть назад, потом рывком голову вперед и, оттолкнувшись ногами, одновременно сделать взмах крыльями. Получится прыжок в воздух. Цацу мучило нетерпение, ему хотелось скорее летать, а не прыгать бессмысленно в гнезде, его тянуло на болото. Лягушки! Как это вкусно и как интересно — поймать самому! Он их так любит! Должно быть, все болото так и кишит лягушками. И, несмотря на то, что было еще почти совсем темно и хотелось спать, Цаца очень старался, рвался в воздух и, конечно, стал выполнять упражнения первым. Он напрягнул ноги, взглянул на парящую над гнездом мать, оттянул

голову назад. Рывок вперед... Он готов был взлететь, но отец сказал: «Стоп!» — и Цаца пришлось повторить много раз одно и то же, стоя в гнезде.

Потом тренировался Жур. Он казался бесстрастным и равнодушным учеником, но отцу больше нравились его точность, покой, собранность.

Однажды Раиска, рано выбежавши из дому, увидела своих длинношеих друзей: Цаца и Жур парили над домом, а мать и отец стояли в гнезде, внимательно следя за их полетом. В этом было что-то напряженно-важное — так у людей начальники летных школ принимают экзамены на первый самостоятельный вылет.

— Папа, папа! — звонко кричала Раиска. — Цаца и Жур летают!

Выходил на крыльцо Журба, прикладывая ладонь козырьком ко лбу, глядел в синее небо, там, попискивая, пощелкивая, вытанув струнку ноги, изогнув и прижав к спине тонкие шею, летали молодые аисты.

— Ловко... Молодцы, — сказал Журба, — дисциплина, порядок, — и подумал: «Значит, проходит лето... раз аисты летают так высоко и так долго, молодежь подросла. Еще одно лето минуло, а войне конца не видно».

Петрусь Журба давно бы плюнул на дом, на свой скерб, сгреб бы в охапку детишек и ушел куда подальше от этой проклятой дороги. Сколько он насмотрелся ужасов, сколько слышался, не терпелся всего. Но... невзрачен был Журба, невзрачна и хата его, и не могла вызвать она подозрений у врага...

3.

У Цацы в этот день был праздник: отец разрешил ему полететь вместе с матерью на болото. Журба Вожак оставил при себе, с Журом у него в последнее время сложились такие отношения, о которых среди людей говорят: контакт. Смелая мысль возникла у Вожак: поставить Жур не в середине косяка, как это полагается всем аистам-подросткам, уходящим в первый полет, а замыкающим. Он поверил в Журба. Быть замыкающим трудно: Жур должен следить за тем, чтобы косяк не растягивался, давать сигналы об отстающих, больных и путем перестука, то краткого, то длинного и дробного, все время поддерживать связь с Вожак. Знает Вожак — многие будут роптать, но пока он не видел более достойного: Жур был великолепен в полете.

Цаца же сразу надоели долгие наставления отца. Он ловил все на лету, понимал с одного раза. Он был очень способный, летать учился отменно, но не любил долбежки: он не посяда, его романтической и утонченной натуре чужды муштра и бесконечные повторения. Его тянуло на природу, к солнцу, к лугам, цветам, к удушающему аромату болотных трав.

Неукротимо приближалась осень, и каждое утро высоко под облаками спарывались, а потом сшибались во все более многочисленные группы аисты. И пришел день, когда Вожак дал сигнал — долгим высоким свистом он приказал построиться. Потребовалось около часу, пока вся стая встала на свои места: Вожак впереди, а от него — широко раздвинутым циркулем — стая. Замыкал одну ногу циркуля Жур, другую — бывалый аист, не раз летавший уже на далекий юг. Цаца приказали лететь впереди матери в самой безопасной середине. Цаца был возбужден, ему не терпелось скорее в путь.

Снизу, с земли, многие смотрели на строгую геометрию косяка, дивились мастерству птиц.

Вышел, конечно, и Журба с семьей, Раиска громко кричала:

— Добрый путь, добрый путь! Прилетайте скорее, мы будем вас ждать!

Аисты точно услышали ее, замерли. Так люди, по обычаю, присаживаются перед дальней дорогой. Птицы тоже отмечали торжественную минуту отлета, прощания с родным гнездом. Вожак медленно облетел всю стацию, желая каждому ни пуха ни пера, потом вернулся на свое место. Караван лег на курс.

И в это мгновение с земли послышался выстрел. Его услышали все, вся стая. Не услышал его Цаца. Он почувствовал, что его больно обожгло, и потом — головокружительный полет в кромешную темноту, больше ничего. Ужас охватил стаю. Этого никогда не было. Там, где летел Цаца, образовалась маленькая голубая прогалина. Мать с криком метнулась в сторону — прогалина увеличилась. Вожак издал протяжный клич тревоги: стая рушила строй.

Вожак увидел летящего стрелой вниз Цацу. Горе охватило его душу, жаркой кровью облилось сердце, слезы застыли в глазах. Что делать? Остановить полет? Возвращаться в свои гнезда? А где гарантия, что не раздастся еще один, а потом еще один выстрел? Ведь кто-то внизу явно сошел с ума — стрелять в такую минуту в аистов! Или это не человек? Нет, стаю дольше держать здесь нельзя ни в коем случае.

Превозмогая страдание, Вожак отдал приказ лететь...

Тяжким грузом лег траур на распластанные крылья аистов, тянул их к земле, к убитому Цаце. Но приказ есть приказ...

Мать еще долго кружила над упавшим сыном, кричала, звала, молила подняться, взлететь...

Вожак звал. Горе ей, горе! Но ослушаться нельзя: законы строги. Она догнала Жура, долетела до своего места, а прогалина там, где летел Цаца, осталась светлым пятном на все время полета. И люди видели оставшееся светлое пятно. Видел его и старый Журба.

4.

Цаца упал на дорогу, в пылу. Еще чуть-чуть — и его бы раздавил грузовик, но подоспел Журба, поднял Цацу и поспешно отнес домой...

Цаца был еще жив. У него насквозь прострелено крыло. Кровь обильно лилась из раны, алым пятнышком растекалась по полу. От удара о землю меркло сознание, нестерпимо болело крыло. И было еще больнее, когда Журба начал обмывать раненое место, заливать его йодом, прикладывать разжеванный во рту черный мякиш, бинтовать чистой льняной тряпкой крыло. Анка постелила мягкую перинку на теплой лежанке, Раиска раскрывала Цаце клюв и вливала ему холодную колодезную воду из бутылочки, которой поили через соску малышку Стешу...

Цаца был плох. Журба и его домочадцы теряли надежду.

— Сволочи, сволочи! — горел злобой Журба. — Душегубы, мало им сдохнуть — гореть им на том свете в жидкой сере, такую птицу загубили! Ну что им с нее, какой прок? Ах, сволочи, сволочи... Ну, погодите!

— Что ты с ними поделаешь, — вмешивалась Анка, — и что толку в твоём гневе?

— Погодь, мать, погодь, все будет, дай срок.

— Да уж давала, все сроки прошли, а они, ось, эва уже у Волги телеплются.

— И ладно. Как веревочке ни виться, а все конец приходит.

А по дороге все грохотали и грохотали пушки и танки, обозы со снаряжением, машины с офицерами. И все это катилось дни и ночи, и все на восток, на восток, на восток.

5.

Первое, что почувствовал Цаца, когда очнулся, — щекоуший ноздри кислотовый запах хаты. Такой запах всегда бывает в бедных хатах, где печется не очень сдобный хлеб, где острая нужда в мыле, где ютятся и кошка с собакой, и курица с уткой. Цаца не знал этого запаха, вообще не знал, где находится, он никогда не был у Журбы в доме. Он открыл затекший, отяжелевший глаз и увидел склоненные над ним лица людей, пытался хоть что-нибудь вспомнить и не мог — сознание не возвращалось к прошлому. Возле него были люди, и он не знал, что ему делать — бояться их или нет, любить или ненавидеть.

— Лежи, Цаца, тебе нельзя вставать, лежи, Цаца, — уговаривала Раиска. Она повозилась в банке, достала маленького лягушонка и протянула Цаце: — Ешь!

И Цаца, удивленно взглянув на Раиску, съел.

— Хочешь еще, Цаца? Хочешь? На, у меня полная банка. Это тебе.

Раиска закладывала Цаце в клюв лягушат, и они с одного глотка исчезали в длинной его шее...

Дело пошло на лад. Цаца встал. Крыло его, заживая, срасталось неправильно, оно не складывалось, оттопыривалось в сторону. От долгого лежания тряслись ноги и то и дело подгибались колени, но Журба, потирая руки, говорил:

— Жить будет!

Жить Цаца будет, а летать — нет. Цаца навсегда лишен великой сладости полета, радости покорения расстояний, созерцания сверху, с высоты зеленых красот, счастья познания далеких стран, заманчивых трасс и станций. Цаца написан на роду стать домашней птицей. Это он понял, когда увидел свое изуродованное крыло и не смог взлететь.

6.

Шли дробные осенние дожди. Они разгваздили остатки дороги так, что все ездили уже по обочине и кляли дорогу. Осень делала людей злыми. В слабую хату Журбы дули злые ветры. Все чаще они загоняли к Журбе продрогших до костей гитлеровцев, которые требовали дров, воды, еду, тыкали Журбе в нос кулаками, выталкивали из хаты.

Цацу приходилось прятать на чердаке: голод пришельцев мог отправить его в кастрюлю. У Журбы уже ничего не оставалось съестного. К осени с востока все больше и больше катили зеленые фурунги с красными крестами

на боках, до Журбы доходили радостные слухи. Потирал Петрусь Журба руки, почесывал щетинистую щеку, мурлыкал песни, покрывал, на вопросы Анки отвечал: «Не твоего ума дело».

У Журбы с Анкой большая разница в летах, взял он ее из соседнего села, когда ему было уже под пятьдесят. Анка была круглой сиротой, а у Журбы умерла жена, оставив ему двух детей: сына, что сейчас в саперах, и Раиску. Анка пришла в дом молодой хозяйкой, дети ее быстро полюбили, а она — детей. Жили дружно, хозяйство держали ладно. Журба — мужик изворотливый. Анку он любил молчаливо; но преданно, заботливо. Но в последнее время жена заметила, что Петрусь что-то скрывает от нее, и, хотя ей было трудно оставаться в неведении, спросить боялась, ждала, пока он сам поделится своею тайною.

А тайна скоро сама раскрылась. Одной дождливой ветреной ночью между порывами ветра и ударами дождя по стеклам послышался легкий, в три щелчка, стук.

— Лежи! — приказал Журба проснувшейся жене.

Троекратный стук повторился. Хозяин, крикнув, влез в валенки, накинул на рубашку ватник и вышел в сенцы. Потом Журба вернулся, достал из поддежки оклунок, бросил туда несколько подсолнухов с пересчитанными семечками, сверху уместил несколько чурок, иззубренных острым ножом, и снова ушел в сенцы.

У Анки тревожно застучало сердце. Громко тикали ходики, причмокивала Стеша в берестяную люльку, шуршал ветер между форточками.

— Вставай, Анка, — сказал, вернувшись, Журба.

— Пошто?

— Пойдешь...

— Куда?

— Не спрашивай зряшных вопросов.

Одевайся проворней, возьми херч, вернешься завтра в сей час... Делай все, что скажет тот, что в сенцах.

— Сбираюсь, — вздохнула Анка.

Мягкая, теплая, в одной рубашке, пошарила по скамье, не чиркая спички, надела юбку, кофту, повязалась двумя платками. Босые ноги мягко шлепали по полу. Побросала в кошелку ломоть хлеба, початок кукурузы, яйцо, соль. Забуккала в ведре бутылкой, наполняя водой. У дверей юркнула в дырявые сапоги.

— Иди, что ль?

— Ступай и не бойсь, да башки не теряй. Жду.

Анка юркнула в сенцы, открылась наружная дверь, ночь сожрала бесследно и Анку, и гришельца, и хлюп сапог по вязкой грязи.

Журба затворил дверь, вернулся в хату, закурил под одеялом ядерного самосада и долго томился в темноте, похныкивая трубой.

Дождь не унимался и на следующий день. Дорогу совсем размывло. Техника надрывно стонала, буксовала, выходила из строя; боясь остановиться, чтобы совсем не загрязнута, рвалась вперед. Забор у Журбы разобрали до ветки на гать. Хата стояла голая на семи ветрах, на лихом юру немых свидетелем злых сил, прущих на восток. Журба отсиживался дома с Раиской, Стешей и Цацей. Раиска робко спрашивала:

— Где мамка?

— В село пошла.

— Пошто?

— Картошку торговать.

— А я?

— А ты за Цацей ходи, накой червей за сараем, навари Стешке каши, отца покорми, вот и будешь умницей.

Анка вернулась в ночь, в слякоть, усталая, до костей промокшая, потная, забрызганная грязью.

— Принесла? — спросил Журба.

— Вот, — поставила тяжелую, закиданную сверху травой кошелку.

— Умница.

Долго шептались, лежа в постели, вздыхали, незло перебранивались.

Прошло еще несколько дней: с востока, все увеличиваясь, шли транспорты с ранеными. Их перевозили из полевых госпиталей в стационары на Украину, в Белоруссию, из большого города близ Порухеш отправляли самолетами дальше, на запад.

Журба до хруста потирал руки — узнал старик от ночного пришельца, что где-то врагу крепко наломали бока...

Цаца оказался философом. Что делать, если не дано, чего хочешь? Надо приравняться. Не все люди злы — так учил Вожак, и Цаца начал в этом убеждаться, на доверие стал отвечать доверием. Привыкал к новой пище, той, что едят люди. Уже совсем смело умасливал клюв на стол, получал початок кукурузы, ловко вкладывал его вдоль по клюву и, поворачивая, как веретено, сбивал с початка желтые зерна.

Привыкал к холодным дождям и первым заморозкам по утрам. Раиска водила его по двору, копала ему червей, и он из-под лопаты поклепывал их досыта, ходил с Раиской к колодезю и подлавливал последних в этой поздней

осени лягушат, барахтавшихся в мокрой приколодезной траве. Больное крыло часто ныло от непогоды, мешало красиво и ровно ступать с ноги на ногу, и чем глубже становилась осень, тем больше тосковал он по родным, по стае, по теплой погоде. Его друзьями стали Раиска и маленькая Стеша. Раиска — на огороде, докапывая последнюю, недовыкопанную проходящими солдатами картошку, и Цаца с ней, в такт за лопатой, обнажавшей в земле розовые клубни, склонив голову, высматривал червей; по вечерам и дням, когда Стеша спала, качал, ухватившись клювом за веревку, ее берестянку, годовешенную за гвоздь, вбитый в потолочную балку. И так ровно, плавно-плавно, как нежная нянька.

Все короче становились дни, рано ложились сумерки на дорогу, на зубцы леса. Лес только издали казался безлюдным и тихим. А поближе — в нем кишмя кишела мрачная жизнь, валились деревья, копались глубокие ямы, упрятались цистерны, боеприпасы, рылись траншеи, землянки, дзоты. Теперь там облавы на медведя не устроишь. Никто не знал: куда доступа, никто не мог проникнуть в тайну, укрытую кронами деревьев.

Никто!..

7.

Подоспел день, когда Раиска проснулась, села на кровати и широко улыбнулась, захлопала в ладошки и на глубоким вдохе прошептала:

— Спаси-и-бо!

На спинке стула, возле кровати, висело свежестиранное, отутюженное платьице, сверху лежали две ярко-голубые ленты. Рядом стоял Цаца и держал в клюве связанные Анкой шерстяные носки. Петрусь поднял Раиску на руки, дотронулся губами до щек, до лба и сказал:

— Поздравляю тебя, дочка, с днем рождения.

— Ай, а я и забыла! — вскрикнула девочка. — Мне теперь двенадцать лет, да?

— Да, дочка.

Подоспела Анка и тоже прижалась лицом к Раискиным щекам.

В доме Журбы — праздник. Завтракали на скатерти, ели горячие пироги с черникой, картофельную запеканку с коричневой корочкой, пили сладкий чай. Стеша сидела за столом, вся перепачканная черникой, стучала ложкой по столу и звонко требовала:

— Дай, дай!

Будто в честь дня рождения Раиска сквозь тяжелые, непробиваемые тучи проскочило солнце и, словно боясь, что его сейчас прикроют, жарко брызнуло последними яркими лучами. Раиска нарядилась в светлое платьице, из которого она уже чуть выросла, а голубые ленты, вpletенные в толстые косы, делали ее лицо почти по-женски красивым. Она сидела торжественная и ласковая ко всем.

А с наступлением сумерек Журба стал собираться.

Сумерки ложились плотные, ложились разом на всю землю, снова заморосил дождь, стаями сбрасывались на землю листья с деревьев, шептались на лету, прикрывали лужи, лепились к колесным следам. А когда совсем стемнело, Журба ушел.

Раиска легла спать с мачехой, Цацу подняли на лежанку. В хате долго шептались.

— Мам, а мам... А там страшно?

— Страшно.

— А его могут убить?

— Нет.

— А он один?

— Не ведаю.

— А где он будет спать?

— Он не будет спать.

— Совсем?

— Спи, Раиска, буде тебе допытывать. Журба возвратился ночью и теперь стал часто отлучаться и неизвестно где пропадать...

Все чаще ночами стали наведываться на хутор морозы.

Дни текли долго. Анка занималась пряжей. Ей во всем помогал Цаца: держал моток шерсти или клювом подкатывал упавший под стол, под пеньку клубок, баюкал капризничающую Стешу, сгребал на жест отлетевший на середину хаты треснувший уголек или вывалившуюся головешку. Раиска читала вслух, готовила пропущенные за два года уроки: школы во всей округе были закрыты.

С приходом зимы нужда в доме Журбы располагалась прочно и без надежд: столбовая дорожка сжирала все под гребло. Но «Розамунда» пелась реже и реже, а Журба все чаще и чаще отлучался из дому.

Вот и сегодня он наматывает на ноги онучи, влезает в подбитые кошмой валенки, подпоясывает ватник. Только в этот раз он идет не с пустыми руками. Сторожко метнулся к сараю, проворно раскидал в сторону грабли, вилы, старую домашнюю утварь, извлек кошелку, которую как-то осенью еле приволокла домой Анка, заметал ее сверху кукурузной массой и, не заходя в дом, скрылся.

Часы потянулись долго.

Анка тревожилась, как никогда; слова не могла вымолвить. Уложила Раиску спать, а сама села у окна и до слез напрягла глаза, словно хотела просверлить выюжную ночь и взглядом последовать за Петрусем. Проползали по дороге темные тела машин, идущих на ошупь в заснеженную мглу, вспыхивали огоньки сигарет, доносились незнакомая брань...

Вот и еще час миновал.

Вьюга.

Заклацал во сне Цаца.

Скреблись мыши. Тикали ходики, изредка вздрагивая гириями. Анка дрожала, липла носом к стеклу, оставляя на нем подтаявшие кружочки...

И вдруг под рассвет далеко, километрах в десяти от Порухи, в том лесу, что черной резьбой стоял на горизонте, оборками замыкая просторную убеленную луговину, послышался взрыв, потом еще один, потом еще, и все звуки в доме у Журбы померкли, и вся округа притаилась. Синее пламя вздыбилось над лесом.

— Мама, что это? — вскинулась со сна Раиска.

Анка молчала, у нее не попадал зуб на зуб.

— Только б скорее, только б живой, целехонький, господи! — шептала она.

А взрывы не утихали, всколыхивали ночь, которая от яркого пожара над лесом становилась еще чернее. «Только б живой, только б целехонек!» — молилась Анка. Раиска плакала, уткнувшись носом в подушку, боясь выдать свои слезы. Она поняла, что этот гул и взрывы находятся в прямой зависимости от ее отца. Ей передалась молитвы мачехи, и она беззвучно шептала в подушку: «Только б живой, только б целехонек».

Все стихло. А они ждали, ждали, не обмолвившись ни единым словом.

Журба пришел в полдень. Без кошелки. Под глубоким покровом седых бровей победно сверкали лютые глаза.

И замолкла езда на дороге, и вспухли на ней девственные сугробы, ховавши ее под собой так, чтобы и найти никто не мог.

Правда, вскоре после взрыва в лесу на хутор обрушились каратели, перетряхнули всю хату, перерыли сарай, курятник, чердак, пытали, почему исчез весь хутор Порухи. Били Журбу в зубы.

— Все разбегались, — спокойно отвечал Журба, — а мне куда бежать? Сам старый, инвалид, да дети.

Ускакали каратели, с чем пришли.

А к Журбе стали наведываться новые гости. Приходила с едой, со спиртом, который Анка разводила на колодезной воде, пили для согрева, передавали добрые вести. На столе появлялась карта, на ней ставились кресты и кружочки, у хаты бродил часовой в зеленом ватнике, с карабином.

Журбу гости называли Дедом и относились с большим уважением. Так же, как в ночи появлялись, в ночи и исчезали, метель крыла их следы свежим снежным покровом.

8.

Отсвистелась метель. Отзвенела капель. Приносились в хату к Журбе короткие вести от сына: «жив-здоров», «ранен», «снова здоров». Ранние ливни смывали остатки зимы, теплое солнце тянуло из земли молодую нежную травку, лопнули почки на тополе и дали выход липким, изжелта-зеленым пахучим листочкам, покосившееся от снежного груза гнездо зачернело на крыше прошлогодними лозинами, возвращались пернатые, душой иссохшие по родимому краю.

Однажды утром громко позвал со двора Журба:

— Цаца, Раиска, Анка, Стеша, выйдите сюда!

Выскочило семейство во двор, подняло небо головы.

— Гляньте, летят! — и Журба кивнул на юг.

Будто громадная эскадрилья, еле взмахивая крыльями, почти разрушив строй, налетела на хутор стая аистов.